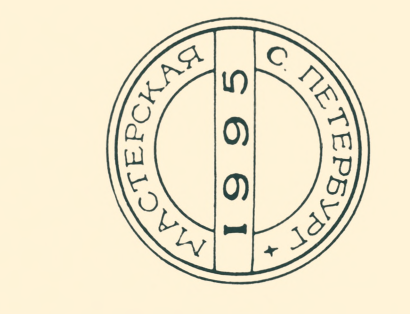


Владимир Гандельсман

Вечерней почтой

Владимир Гандельсман

Вечерней почтой

Atheneum • Феникс
Москва — С.Петербург
1995

ББК 84 Р 7

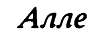
Г-19 **Гандельсман Владимир. Вечерней почтой.** Стихотворения. — М.; СПб.: Atheneum; Феникс. 1995. 96 с.

ISBN 5-85042-029-0
ISBN 5-85042-032-0

Г $\frac{4702010202-007}{Д\ 20\ (03)\ -\ 95}$ 95 без объявл.

ББК 84 Р 7




Алле

I

О вечереет, чернеет, звереет река,
рвет свои когти отсюда, болят берега,
осень за горло берет и сжимает рука,
пуст гардероб, ни единого в нем номерка.

О вечереет, сыреет платформа, сорит
урнами праха, короткие смерчи творит,
курит кассир, с пассажиркою поздней острит,
улица имя теряет, становится стрит.

Я на другом полушарии шарю, ища
центы, в обширных, как скука, провалах плаща,
эта страна мне не в пору, с другого плеча,
впрочем, без разницы, если сказать сгоряча.

Разве, поверхность почище, но тот же подбой,
та же истерика поезда, я не слепой,
лучше не быть совершенно, чем быть не с тобой,
жизнь — это крах философии. Самой. Любой.

То ли в окне, как в прорехе осеннего дня,
дремлет старик, прохудившийся корпус креня,
то ли ребенка замучила скрипкой родня,
то ли захлопнулась дверь и не стало меня.

Я возьму светящийся той зимы квадрат
(вроде фосфорного осколка
в черной комнате, где ночует елка),
непомерных для нашей зарплаты трат,
я возьму в слабеющей лампе бедный быт
(меж паркетинами иголка),
дольше нашего — только чувство долга,
Богом, радуйся горю, ты не забыт.

Близко, близко поднесу я к глазам окно
с крестовиной, упавшей тенью
на соседний дом, никогда забвенью
поглотить этот желтый свет не дано.
И лица твоего я увижу овал,
руку с легкой в изгибе ленью,
отстранившую книгу, — куда там чтенью,
подниматься так рано, провал, провал.

Крики пьяных двора или кирзовый скрип,
торопящийся в свою роту,
подберу в подворотне, подобной гроту,
ледяное возьму я мерцанье глыб,
со вчера заваренный я возьму рассвет
в кухне... стало быть, на работу...
отоспимся, радость моя, в субботу,
долго нет ее, долго субботы нет.

А когда полярная нас укроет ночь
офицерской вполне шинелью,
и когда потянется к рукоделью
снег в кругах фонарей, и проснется дочь,
испугавшись за нас, — помнишь пламенный труд
быть младенцем? — то, канителью
над ее крахмальной склонясь постелью,
вдруг наступят праздники и все спасут.

Снег размозжен подошвами, раскис.
Февральский воздух сумеречно-сиз.
Мороженица — три ступени вниз.

Уставшая мертветь в развалах льда,
сюда стекает талая вода.
Тебе никто не равен никогда.

Чайковского часов примерно в семь.
Я не хотел касаться этих тем.
Общенье душ не выдумка совсем.

Лариса приготовит нам двойной.
И Грегор, нас почувствовав спиной,
исчезнет между стойкой и стеной.

Его любовь к сородичам и страх
за них, полуживотный, впопыхах...
Сочувствие не держится в стихах.

Я мысленно сжимаю снег в горсти.
Мне больше не с кем душу отвести
туда, куда ей хочется, прости.

Я посвящу тебе лестниц волчки,
я посвечу тебе там,
сдунуло рукопись ветром, клочки
с древа летят по пятам,

в лестницах, как в мясорубках, кружа,
я посвящу тебе нить
той паутины, с которой душа
любит паучья дружить,

лестниц волчки, или власти тычки,
крик обезьян за стеной,
или оркестра косые смычки
марш зарядят проливной,

гостя, за маршем берущего марш,
я посещу ту страну,
где размололи не хуже, чем фарш
слабую жизнь не одну,

вешалок по коридору крючки,
я посвечу тебе в нем,
на два осколка разбившись, в зрачки
неба упавший объем,

надо бумагу до дыр протереть,
чтобы и лист, как листва,
мог от избытка себя умереть,
свет излучив существа.

По коридорам тянет зверем,
древесной сыростью, опилками,
и — недоверьем —
дитя с височными прожилками,
и с лестниц черных
идут какие-то с носилками —
все в униформах.

Провоет сиплая сирена,
пожарная ли это, скорая,
пуста арена,
затылок паники за шторою
мелькнет, и ярус
из темноты сорвется сворою
листвы на ярость.

Он не хотел на представленье,
оставь в покое неразумное
дитя, колени
его дрожат, и счастье шумное
разит рядами, —
как он, его не выношу, но я
зачем-то с вами.

Горят огни большого цирка,
прижмется к рукаву доверчиво —
на ручках цыпки
(я плачу) — мальчик гуттаперчевый...
скорей, в автобус,
обратно все это разверчивай,
на мир не злобясь.

Они не знал, что творили —
канатоходцы ли под куполом

пути торили,
иль силачи с глазами глупыми
швыряли гири...
Иль, оснежась, сверкали купами
деревья в мире.

Озера грудной разрыв.
Белок горловых комки.
Ветра мысль недоразвив,
стихло дерево. Ни зги.

Дымная навылет хлябь.
Обморочный ночи рост.
Ребрами худеет рябь
в кварцевом продроге звезд.

Речью я протру глаза.
Горе больше нечем крыть.
Вижу, что уже нельзя
видеть и не полюбить.

Долгие цедятся осени поздней часы,
чаша дежурств опрокинутым небом ночных,
помыслов нет никаких, потому и чисты,
чище забытого запаха лилий речных,

тесных маячат бытовок моих поплавки,
сдавшихся строем деревьев знамена сожгли,
крышка бренчит фонаря, отмеряя кивки,
дышат олени, вплотную к реке подошли,

вот прозябанье счастливое, так прозиять
треть своей жизни — я даже в уме не держал,
где ты идешь в эту пору мне лучше не знать,
вахтенный цифрами я заполняю журнал,

ты, вдохновенье, меня поднимай из золы,
нет, не она — мне дороже волненье о ней,
слышу, как ветер колеблет и гонит валы,
звездное вижу я столпотворенье огней,

ты поднимай, вдохновенье, меня, поднимай,
выпадом звука внезапного опереди,
не принимай моей пошлости, не понимай
всей этой осени, вырвавшейся из груди.

Одичалых одиночек мало ли,
тех, что прорастали в толщу почвы,
стены, как в рапиде, шли обвалами,
человеческой хотел я почты.

Прах отсутствий сплавливал до тяжести,
воздуха прочитывая сгустки,
и вживлял, как дерево, в пейзажи те
свой состав заклятьем речи устной.

Или кровь искала выход порами,
тычась, как в мешке еще живое,
гибнущее там между опорами,
под мостом, заглатывая вои.

Не сбылось — на то оно пророчество.
Чудо воплощенное — не чудо.
Все, как есть оставь, я одиночество
в плоть вопью и голосом побуду.

Трезвые наступают дни.
Точно спиртовок горят огни.
То на востоке взошла звезда.
Я не могу не смотреть туда.

В церкви сегодня поют с утра.
В путь собрались те, кому пора.
Вышли — и светом глаза прожгло.
Римское воинство снега шло.

Ясные наступают дни.
Пусть одиноки, но не одни.
Точно прильнули к доске дверной —
так только может молчать живой.

СТИХИ ПАМЯТИ ОТЦА

1

Ночь. Туман невпродых.
И — лицом к октябрю —
надо прежде родных
исчезать, говорю.

Речь, которая есть
у людей, не берет.
В большей степени весть
о тебе — этот крот.

Потому что он слеп.
Слепок черных глазниц.
В большей степени — степь.
Холод. Ночь без границ.

2

Узкий, коричневый, на два замка саквояж,
синие с белыми пуговицами кальсоны,
город, запаянный в шар глицерином, вояж
в баню, суббота, зима и фонарь услезенный,

за руку, фауна булочной сдобная: гусь,
слон, бегемот — по изюминке глаза на каждом,
то и случилось, чего я смертельно боюсь
там, в простыне, с лимонадом в стакане бумажном,

то и случилось, и тот, кто привыкнуть помог
к жизни, в предбаннике шарф завязавший мне, —
столь же
к смерти поможет привыкнуть, я не одинок,
страшно сказать, но одним собеседником больше.

3

Я шлю тебе вдогонку город Сновск,
путей на стрелке быстрые разбеги,
хвостом от оводов тяжеловоз
отмахивается, на телеге

шагаловский с мешком мужик-еврей,
смесь русского с украинским и с идиш,
мишугинер побачит тех курей
и сопли разотрет в слезах, подкидыш,

весь местечковый, рыжий, жаркий раж,
всю утварь роя, все, чем мне казался
тот город, всю языческую блажь, —
египетский ли плен в крови сказался,

не знаю... Эту жизнь, которой нет,
которая мне собственной телесней
была, на ту ли тьму, на тот ли свет
я шлю тебе мой голос бесполезный,

как в Белгороде где-нибудь, схватив
в охапку сверток груш, с толпой мешаясь,
под учащенный пульс-речетатив, —
ты отстаешь, в размерах уменьшаясь,

и я иду к тебе, из темноты
тебя вернув, из немощи, из страха,
как блудный сын, с той разницей, что *ты*
прижат к моей груди как короб праха.

4

Это ты стоишь в прихожей с клюкой —
воспаленные веки, полуоткрытый рот,
мы с тобой не увидимся ни в какой
больше комнате, мама за мной запрет,

это ты в семейных стоишь трусах,
отражаясь в зеркале тройного трюмо,
«...и прижать тебя к сердцу» — уже в слезах
ты закончишь беспомощное мне письмо,

это я в навьюченном солнцем стою
городке ослином и пью вино,
это ты, вцепившись в кровать свою,
жизнь додышиваешь, идя на дно,

предпоследняя — вот она — в череде
явей, нам изменяющих без конца, —
боль, последней же нет нигде,
а точнее — нет у нее лица,

не имеющая в зеркалах
отраженья, страшна и завешивают ее,
это ты стоишь, на моих глазах
превращаясь в незыблемое небытие,

не собою утрата так тяжела, —
обретение, наоборот, она яви есть
в большей мере, чем явь до нее была,
умирает тело, но дышит весть.

5

На скорбном родины развале
январь я этот пробродил,
меня в квартиры люди звали,
и призрак душу бередил,

не зря кругом была разрыта
земля и, кутая озноб,
как у разбитого корыта
сидел над ямой землекоп,

сновали голуби помоек,
день припухал как на дрожжах,

и воспаленный свет попоек
горел на нижних этажах,

я там увидел сон плаксивый:
лет семь ребенку, смерть отца...
Ты, откупившаяся ксивой,
душа без признаков лица,

оплакавшая в срочной дреме
сегодняшнее горе, ты —
ты исхитрилась в мертвом доме
и мертвая — вернуть черты

свои, забившись в угол сонный,
ползущая на свет, на звук
почти уже потусторонний, —
ты, перевспыхнувшая вдруг.

6

Поздней осени скарб.
Ночь. Отливом забыт,
лист ползет, точно краб.
Прах твой в землю зарыт.

Я не знаю молитв.
Только слово, как бур,
словаря монолит
сверлит, рыщет фактур

равных скорби, тому,
что отбросила плоть,
погружаясь во тьму.
Прииск звездный. Щепоть

света. Облако ль ты
тщишься сдвинуть рукой,
чтоб увидеть черты —
вот — лица над строкой,

и в движенье пером
по бумаге — прочесть:
среди ясного гром
неба — все, что ни есть...

Или этот набор
букв, тире, запятых
ты не видишь в упор
как бесстыдство живых?

Остановка над дымной Невой,
замерзающей, дымной,
черный холод зимы огневой —
за пустые труды мне,

хищно выгнут Елагин хребет,
фонари его дыбом,
за пустые труды этот бред
в уши вышептан рыбам,

за граненый стакан наплаву
ресторана «Приморский»,
за блатную его татарву
в мерзкой слякоти мёрзкой,

то ль нагар на сыром фитиле,
то ли почва паскудна,
то ли небо сидит на игле
третий век беспробудно,

в порошок снеговой ли сотрут
этот город ледащий
за пустой огнедышащий труд,
в ту трубу вылетавший,

или «нет» говори, или «да»,
Инеадой вдоль древа,
черной сваей за стеклами льда,
вбитой в грудь мою слева.

Коридоров жилищных контор.
Как войдете — направо и прямо,
там упретесь. Я кухонных ссор
челобитчик, обидчик и вор.
Встаньте в очередь, дама!

Между двух посидим батарей.
О разводе мне дай, о прописке.
Я входных завсегдатай дверей.
Отойди от меня. Не зверей.
Где вы брали сосиски?

Безопасности техники чтец.
«Светоч»-фабрики в полуподвале
на плакате ударный боец.
Да заткнитесь уже, наконец,
все мы жертвою пали.

Кран течет, намокает стена.
Слух идет о тебе, ныне дикой.
Я гуляю сегодня, страна.
Вот мой рваный. Пошел бы ты на.
Ты не мать мне, не тыкай.

Гробовую мою утоли.
Что ты лыбишься, зенки таращишь?
На мели я, сосед. Не мели.
Дай до завтра трояк. Отвали.
Отвалю — не оттащишь.

Вот ведь скоро ноябские. Ляг.
Махабхарата, бхагавадгита.
Я хочу не духовных, но благ.
Рыбка! Что тебе надобно? Так…
Впрочем, дай мне корыто.

Я на разных лежу этажах.
Человеком со справкой, придурком.
Воет ветер в своих мятежах.
Иль со светом ты не на ножах,
ночь над Санкт-Ленинбургом?

ПОЭТ

Чуть вздрагивает, ах, его состав —
от полустанка сна отходит, —
он просыпается, еще припав
к чему-то желтому, — там непогодит.

Часы вокзального буфета на буфет
перемещаются в столовой,
и шрифтом вниз, как крыша, едет Фет,
и на дорожке тормозит ковровой.

Еще он в шлепанцах влачит, как товарняк,
недавний сон, его смывая в ванной
с землистого лица — хотя бы так! —
с лица земли не смоешь окаянный.

Но и не надо, пусть, как план второй
слегка дымится, кофе, сигарета,
душа стесняется лирической мурой,
и то сказать — не зря сживал со света

возлюбленную — было жаль бросать
жену, ребенка... Пошлость, ты бессмертна!
(Она сидела на полу, под стать
другой жене, глотая боль усердно).

Теперь все улеглось, на их крови
он настоял стихи, для аромата
виной раздвоенной любви
их сдобрив, — по глухому «О!» на брата.

Труд кончив, он спускается в кафе
перекусить и выпить рюмку водки,
и вдруг себя как бы в чужой строфе
он видит миг кромешный и короткий

и усмехается, всезнающ, как змея,
затем просматривает почту, выбирая
стихи Н.Н., в которых дом, семья,
и, к счастью, кристаллического рая

поэзии: изящества и холодка
иронии, — нет и в помине, тайны
единственный владелец, от глотка
последнего хмелея, в дом случайный

он едет, едет, ночь, на острова,
ночь, желтое, какой-то полустанок,
он прикрывает веки и слова —
как бы пыльцу — снимает с их изнанок,

какую музыку он, ах, завез в притон,
ее заспав среди зверей двуногих...
Смотри, он отвратителен, при том,
что стих его великолепней многих.

Футбол на стадионе имени
Сергей Мироновича Кирова
второго стриженого синего
на стадионе мая миру мир

под небом бегло гофрированным
рядами полубоксы тыльные
левее ясно дышит море там
блистательно под корень спилено

на стадионе мая здравствует
флажки труду зато в бою легко
плакатом мимо государствует
бутылью с жигулевским булькают

парада ДОСААФ равнением
идут руками все размашистей
и вывернутым муравейником
меж секторов сползанье в чашу тел

потом замрет и страшно высь течет
над стадионом С.М.Кирова
удары пустоты стотысячной
второго стриженого миру мир

по узеньким в часы песочные
в застолье ускользают сумерки
до Дня Победы обесточено
извилиной сверкнет лишь ум реки

ПОДРАЖАНИЕ КАВАФИСУ

Куда идете, граждане, держась
за тонкие веревочки, к которым
привязаны воздушные шары?
И почему бумажными цветами
вы машете, и красных петушков
на палочках облизывают дети?

Чем взбудоражен город, почему
на всех углах из раструбов железных
гремит незримый хор, и старики
из окон смотрят недоумевая:
что там несут — трофеи или дань?
и кто несет — рабы или туземцы?

Что за повозка? Почему на ней
трехглавый барельеф — Геракл могучий
в Аид отправил пса или богов
столь странные у вас изображенья?
Там, за рекой — святилище? дворец?
Куда устремлены Петра потомки?

Ареопаг? Как много черных шляп
и шелковых шарфов! Совет старейшин?
Зачем они ладонями с высот
трибуны помавают? Копьеносцы
и лучники уходят на войну,
или с войны, блестя златочешуйно,

вернулись? О, постойте, я хочу
понять обычай ваш, куда спешите?
И почему почтенные мужи
все по трое расходятся, оставив
жен и детей, и, право, почему
вы мне не отвечаете? Постойте!

Откуда эти залпы? Началось?
Кто этот человек, зачем в потемках
ко мне он приближается с копьем
и говорит: «Изыди, чужестранец,
а не изыдешь, мы тебя убьем...» —
и ритуальный исполняет танец?

Клио больше не дышит. Молчи.
В сколах льда и бутылочных сколах
та страна, где со стен ильичи
отвращали от зрения в школах,
где попробуй зато, разлучи —
на пространствах убитых и голых —
с незаконным лучом заоконным,
не измеренным метром погонным...

Тычь указкою в залежь, не тычь,
течь-не течь Иртышу с Индигиркой, —
штабеля окольцованных тыщ
обернулись шипящей пробиркой
щелочной, из химических ниш,
гардеробной дырявою биркой,
и копиркой кривой с письменами
ночь лежит между ними и нами.

Дай на парте получше залечь,
в междуречье меж тигром и тигром
голова моя падает с плеч,
я не друг историческим играм
и сквозь сон культивирую речь,
потому она меньше калибром,
чем у чудных твоих, от которых
нам остался серебряный шорох.

Потому что История — лязг
одного и другого затвора,
а не дребезг любовей и дрязг
на строку выносимого сора,
потому что заботы и ласк
много больше, чем зла и позора,
перепало. Не сетуй, родимый,
что невзрачный, зато — невредимый.

Выползай из школярской тюрьмы
коридорами бомбоубежищ,
всем подмышечным потом гурьбы, —
на простор снеговых побережищ, —
в ослепительный воздух судьбы
тычься мордой, покуда несведущ...
Ты еще отворишь свои очи,
полусвета дитя, полуночи.

И увидишь: отцеплен состав,
и увидишь не время, но место,
где под вечер бухают, устав,
и вспухают под утро, как тесто,
и не цезарь, а домоуправ,
и не форум, а куча асбеста, —
и замрешь между лесом и лесом
в электрическом поле белесом...

Обобщающий взгляд мне не шей, —
ни имперский поэт, ни историк,
из приемных гонимый взашей,
тот, чей хлеб пропитания горек, —
слесарь я и копатель траншей,
и беднее меня только Йорик,
потому что несчастный не слышит,
как молчит он и Клио не дышит.

Л.ДАНОВСКОМУ

Я пью за немногих, но верных...
Кн. Петр Вяземский

За хмельной, предвоскресный
вечер, город окрест,
за «Вакхической песни»
просветительский жест,

за сиденье по кухням,
за январь на дворе,
за «дубинушка, ухнем...»
у соседа в норе,

за жилье по лимиту,
за бессмертный, навек
в желтом доме зарытый
твой талант, имярек,

за поэта — не волка,
за спокойный рассказ
той, которую долго
Бог спасал, но не спас,

за любовь, что косила,
приручая вранье,
за внезапную силу
обойтись без нее,

за платформу на Лахте,
электрички огни,
за пустые на вахте
мои ночи и дни,

за спустившийся наземь
снег окраины всей,
как завещено князем,
за немногих друзей.

Из пустых коридоров мастики,
солнцерыжих паркета полос,
из тик-така полудня, из тихих,
тише дыбом встающих волос,

сохлым запахом швабры простенной,
труховой мешковиной ведра,
с подоконника пьющих растений
вверх косея фрамуги дыра,

перочисткой и слойкой в портфеле,
Александров под партой ползет
к Симакову, который недели
через две от желтухи умрет,

безъязыкие громы изъяты
горячо, и в продутых ушах
две глухие затычки из ваты,
и уроки труда на стежках,

и на солнце прозрачные вещи,
и пчела к георгину летит,
в вакуолях пространства трепещет,
слюдяное безмолвье слезит,

то, что вижу — не зрение видит,
не к тому — из полуденных тоск —
сам себя подбирает эпитет
и лучом своим ломится в мозг.

В георгина лепестки уставясь,
шелк китайский на краю газона,
слабоумия столбняк и завязь,
выпадение из жизни звона,

это вроде западанья клавиш,
музыки обрыв, когда педалью
звук нажатый замирает, вкладыш
в книгу безуханного с печалью,

дребезги стекла с переферии
зрения бутылочного, трепет
лески или марли малярия —
бабочки внутри лимонный лепет,

вдоль каникул нытиком скитайся,
вдруг цветком забудься нежно-тускло,
как воспоминанья шелк китайский
узко ускользая, ольза, уско

Мел ссыпается с досок,
тряпок, весенний,
треугольниками хеопсы
залежей, где бассейны,

угольные буравят мухи,
в море впадают вилы
Нила, Некрасов муки
отслоил для Ненилы,

слойки и перочистки,
читка пиесы в лицах,
актовый зал отчизны,
Софья и Лиза,

я берегами Стикса
Лену ищу в тоске,
мальчики ждут от икса
игрека на доске,

по небу снимки
легких летят легко,
розовые, как у немки
голубое трико,

в ту строку, где «весенний»,
тихо просится «день»,
тень проносится тени
Лены, тень ее, тень.

О ядро с ключицы
в воздух послано сентября,
долго летит, лучится,
в памяти застревает зря,

катится, пав на землю,
сантиметра три,
тем я и занят, тем ли
за́нят я, тускло ядро гори,

трусики-абажуры,
девичьи позвонки гуськом
тянутся с физкультуры
в неотразимом огне таком,

и спокойная пропасть
обрывается, мертво стоя
на своем, — точно пропись
с оглянувшимся «я».

Вестибюля я школьного
окончания в пору уроков,
вроде взрыва стекольного,
световых его пыли потоков,
вроде с улицы вольного,

или галстуком розовым
проутюженным веянье шелка,
и к учебникам розданным
обоняние тянется долго,
все продернуто воздухом,

пилкой лобзика ломкою
контур крейсера, пылкие взоры,
и любовное комкая,
вся на северной встречу Авроры
кровь пульсирует громкая,

время тусклое лампочки
в раздевалке, тупых замираний,
и мешочка на лямочке,
и с родительских в страхе собраний
ожидания мамочки,

тонкокожей телесности,
шеи ватой обмотанной свинки,
астролябий на местности,
и рифленых чулков на резинке,
и кромешной безвестности,

растворяйся, ранимая,
погружайся в тоске корабельной,
дом, и, неуяснимая,
под бессмертный мотив колыбельной,
радость, спи и усни моя.

Поднимайся над долгоиграющим,
над заезженным черным катком,
помянуть и воспеть этой рай, еще
в детском горле застрявший комком,

эти — нагрубо краской замазанных
ламп сквозь ветви — павлиньи круги,
в пору казней и праздников массовых
ты родился для частной строки,

о, тепло свое в варежки выдыши,
чтоб из вечности глухонемой
голос матери в форточку, вынувший
душу, чистый услышать: «Домой!»

и над чаем с вареньем из блюдечка
райских яблок, уставясь в одну
точку дрожи, склонись, чтобы будничный
выпить ужас и впасть в тишину.

Тому семнадцать, как хожу кругами
вокруг постов своих сторожевых,
над реками, семнадцать берегами
я лет хожу в пространствах нежилых,
дыханием моим за стадионом
отопленных, с футбольною землей,
раскомканной, под воздухом бездонным
все началось, кипящею смолой
на дальних пустырях, с теней в бушлатах,
с вагончиков отцепленных, тому
назад семнадцать, с вечера поддатых,
смурных и сократившихся до СМУ
с утра, когда бредя с автостоянки,
я согревался начатым в глухом
углу одной бытовки у жестянки
с окурками спасительным стихом,
продолженным в заснеженных колоннах
Елагина на шатком топчане,
среди котлов, на угле раскаленных,
волчат огня, в своей величине
разогнанных до высыпавшей стаи
шипенья на рождественском снегу,
семнадцать, как губерния пустая
пошла и пишет через не могу
раскуренным стихом на финском фоне,
над мертвой рыбой с фосфором из глаз,
в другой бытовке скуку на Гудзоне
развеявшим и конченным сейчас.

Господи, в комнату вошел в семь часов,
в сумеречное осенью время дня,
прислонился, рифмою заперся на засов,
пустота обнюхала в дверях меня

и уползла туда, где нет ни души,
снял ботинки, сделал три шага, лег,
что-то подумал, вроде «фонарь туши»,
но не горел он, и разобрать не смог,

в сон проваливаясь почти,
абсолютно проснулся, открыл глаза, —
пустота ли пробовала вползти
снова в комнату и устроить в ней чудеса —

(то есть, зеркало, кресло устроить, шкаф —
без свидетелей; то есть, когда с вещей
имена, снимаясь, гуськом в рукав
улетают, в отдельный рукав ничей), —

или жáра младенческого донесся шип
и вращение одновременно ста
черных дисков с глазами уснувших рыб,
и душа безвидна была и пуста...

потянулся к лампе, чтобы глагол «зажечь»
промелькнул в уме и осветил тетрадь,
и открыл тетрадь, чтобы возникла речь,
и сказал «Господи», чтобы Он мог начать.

В бронхах это хрипит Бронкса
поезд метро кренясь,
это закатная залита в лица бронза,
это жилья в разбросах
зоологических ребер горит каркас,

это в поте лица пятниц
скарб, маскарад, огни,
пряные это дымки и закуты пьяниц,
просят, но как-то пятясь,
спи, — бормочу, сторонясь, — мой бэби, усни,

мусор это рябит, синий
вечер уставит в стол
тяжкие локти, засмотрится ли разиня —
от корзины к корзине
все мускулистый колышется баскетбол,

спи, мой бэби, усни сладко,
спи не как человек —
то ему пир приснится горою, то свалка,
всякое зрелище жалко,
если его к Рождеству не засыпет снег.

ЗАВЕЩАНИЕ

Я умру в ночи морозной,
в будке, вздрогнув от снежка,
испугавшись несерьезной
шутки, собственно, смешка,
и мелькнут в ночи ничьей
дети местных богачей.

Я умру в продолговатой
будке — здравствуй, на попа
гроб поставленный когда-то,
здравствуй, племя и тропа...
Зарастут, боюсь, они —
хорони-не хорони.

Но пока в уме я здравом,
завещаю: не кричи,
у меня в кармане правом
есть несданные ключи,
ты ключи на вахту сдай,
а потом уже стенай.

И черкни в Петрополь: мол, он
опочил с пером в руке,
потому что был он полон
(что и чувствуем в строке)
чудных замыслов, а тут...
Полон, полон был, не худ.

И еще одна есть просьба:
ты в Россию не лети,
мы с тобою тоже врозь бы
жили счастливо, поди.
Расстояние в любви
лучше всяких визави.

А распутицей весенней,
как распустятся кругом
благовония растений
над усопшим мудаком, —
тихой будки позади
незабудки посади.

Надгробья, прикрепленные к земле.
Прах погребен, затем поименован.
Оставшийся в единственном числе,
старик, что прикатил на шевроле,
стоит, как будто в смерти их виновен.

Перебирает косточки родных.
Но мысль сосредоточиться не в силах
на них, несуществующих, на них, —
скорей, чем он, она уже одних
кровей с тенями родственников милых.

Господь жесток — он жизни не просил,
старик сухой, ни жизни, ни свиданий
сомнительных средь сонмища могил, —
но милосерд, лишая скорбных сил
и скорбь саму — конкретных очертаний.

Не биться же о камни эти лбом,
пусть даже и в безумии законном,
пусть даже в измерении любом
другом не встретишь неба в голубом
сиянии над кладбищем зеленым.

В. Черешне

Назови взволнованностью земли
караваном идущие по горизонту горы,
тем же, тем же покоем дышать вдали
от себя, темнеющий шаг нескорый,

восходящий к небу и нисходящий шаг,
книгочей, оторвавшийся от страницы,
так взволнован, но и спокоен так,
ни приблизиться не умея, ни отстраниться,

освещенное осени сумерек вещество,
царь, не знающий кто он, в своем убранстве,
так в игре водящий — мгновение — никого,
обернувшись, не ищет в пустом пространстве.

С кем-то я по каменным ступеням,
ровно семь, открыта дверь, иду,
постепенно проступает пеньем
радио контральтным, на свету

мать рояль безмолвно протирает,
в комнату проходит некий тот,
но в другую, рук не простирает
мать ко мне, рояль не видя трет,

тот на пишмашинке — строчка-зуммер —
за стеною буквится в углу,
жив отец, не помню, или умер,
я хочу спросить, но не могу,

перед праздником паркет начищен,
кубометры комнаты горят
воздухом вины, как вдруг насыщен
он отсутствием всех и всего подряд,

и бесхозный голос, эта мнимость,
то есть — исчезающий вдвойне,
дрогнув паутинкой на стене,
оставляет чистую вместимость.

Птица копится и цельно
вдруг летит собой полна
крыльями членораздельно
чертит в на небе она

облаков немые светни
поднимающийся зной
тело ясности соседней
пролетает надо мной

в нежном воздухе доверья
в голубом его цеху
в птицу слепленные перья
держат взгляд мой наверху

Тихий из стены выходит Эдип,
с озаренной арены он смотрит ввысь,
как плывет по небу вещунья-сфинкс,
смертный пот его еще не прошиб.

Будущий из стены выходит царь,
чище плоти яблока его мозг,
как зерно проросший, еще не промозгл
мир, — перстами его нашарь.

Воздух, воздух губами еще возьми,
разлепи два века и слух открой,
и вдохни, как крепко, кренясь, корой
пахнет дерево еще незимы.

Ты сюда явился запомнить взрыв
вещества, которым и образован сам,
в чистом виде равный своим слезам,
ни единой тайны стоишь не раскрыв.

В белом еще обнявшихся нет сестер-
дочерей, и мать еще не жена,
и себя не уговаривает: «жива» —
жизнь, и дышит дышит дышит в упор.

Чудной жизни стволы,
чудной жизни извилистой
не увидишь, сгорев до золы,
зелень, зелень сквози листвы,

лягушачий твой пульс
тонкой ветвью височною
замедляясь в согласных — «ветвлюсь» —
говорит и, высь точную

в гласных бегло явив,
нотной тенью пятнистою
по земле пробегает, прилив
света в запись втянись мою,

без остатка втянись,
чтоб не знали о пролитом
дне ушедшие намертво вниз,
чтоб не ведали боли там,

равной тленья крупиц
тяге — смерти перечащей —
тяге: зыблемый воздух границ
зреньем вспять пересечь еще.

Я посетил тебя, страна ларьков,
царей по центру, помнится, царьков
провинциальных... Лучше Михаила
не скажешь все равно: страна рабов,
страна господ. И цинковых гробов,
не виноватых в том, что ты хамила.

Я посетил тебя, страна певцов
с винцом в груди; испытанных гонцов
(чем дело пахло? — то-то, керосином)
за керосином; девок, из сенцов
рванувших за бугор, — и нет концов...
Но вот — нашлись. Постумия, плесни нам.

Я посетил тебя, страна идей,
почивших в дозе, маленьких людей,
играющих теперь в другие бабки,
не пулеметных — так очередей
в универсам, развесившая тряпки
и уши на развалах площадей.

Я посетил тебя, страна могил
друзей сорокалетних, посетил...
Тем — помогла, а те — собственноручно.
Румянцев, Нина, Витя... Нет ни сил,
ни смысла перечислить тех, кто жил.
Кто больше не живет. Им в списке скучно.

Надменничаешь в пошлости, трунишь.
То струны рвешь, то грозно приструнишь.
Ни слова в простоте. Притом канючишь
любви философической, темнишь,
сквозь гнев, но возлюби отчизну, учишь.
Шуми, шуми, как некогда камыш.

Шурши рублем. Ни сын тебе, ни брат.
Я был ребенком — этому и рад.
Не важно — где. Язык родимый славить?
Но *ты* при чем? Над городом закат?
Постумия, плесни еще... Иль сад
Дзержинский, а? Ни вычесть, ни прибавить.

Ломкую корочку снега
продавливая за гаражами,
за отвороты ботинок завалится,
звякая за подкладкой грошами,
долго на стену пялиться...
мокрыми пятками, медными пятаками...

Корочка снега бурая,
прошитая горячо
собачьей капельками мочой,
в горле у идиота рыданье бурное,
все ни о чем, ниотчего,
мамочку жаль, стена штукатурная.

(Если бы не слюны
запах с ее платочка,
сажу стирает с моей щеки,
грустные окна слюды
на керосинке, я думаю, очень.
Долго в точку смотреть — и все далеки).

Близко к рождению, небытие
втягивает, как в полынью,
разудаляются птицы две в небе те,
голову наклоню,
жить надо, врать, разорвать одну
жалобу школы на школьника в темноте.

Дай прихитрюсь,
припотею к воротничку,
жизнью пропахну, притрусь,
страшно ему, идиоту и новичку,
мерзнуть и, втискиваясь в эту узь
за гаражами, изничтожать себя по клочку.

С ДЯДЬКОЙ

Мы — солнце яркое
желтей желтка — сидим,
ты держишь чарку, я
в твою одежду дым
вдыхаю впитанный
ночных костров, войны,
охоты, вытканной —
из-за твоей спины
видна — на коврике,
где солнца луч лежит,
и столько в облике
твоем любви дрожит
моей, — тянусь рукой,
и чарка алая
вина, скользнув рекой,
наряд твой залила,
тогда, скривив лицо,
ладонь отводишь ты —
нежна, блестит кольцо
на пальце, как цветы,
нежна, и линий вдоль
ладони бел пучок,
но обжигает боль
мне щеку горячо,
я в угол тот бегу,
где лира спит у нас,
и слабо берегу
до-пробужденья час.

Памяти Л.

Вот еще один
март солнечный
невоплощен, иди
сюда, со школы начни,

с коридора начни,
как на колено берут
портфель они,
девочки, и Лена не тут

уже, замочки блестят
и резинки видны,
чуть в проталинах сад
прописан весны

вдали, иди сюда,
где сплошь мокрая
земля, и с чавканьем стиснуты
калош края,

ближе подойди,
по стеклу в грязи
битому проведи
и цветок спаси,

помня, с белых лиц
двух учительниц
как слетал шепотком
с траурным ободком

мир, пылящийся
в груде сумерек,

там, где плащ, вися,
умер, сник,

утомясь, томясь,
иди себе прочь,
небом пряных масс
наплывает ночь.

Велосипед, стоящий на седле,
раскручиваем, взявшись за педали,
о, смазанные втулки, о, к земле
(по одному у каждого) припали
колени и сыреют, блески спиц,
ты, мой кузен, любовию взлелеян
розовощекой тетушки, сестриц,
и ветр весны по городу расклеен.

О ты, Владимир, отрок и кузен,
подъемлешь пальчик вверх — он окровавлен,
ты помнишь, до того, как ты совсем
сошел с ума и, женами оставлен,
писал трактат, — ты отрок, ты стоишь,
воздев, из цепи вынутый, обрубок
(как мне помстилось в ужасе), и тишь
по капельке переполняет кубок.

Грустно, грустно детей растить,
в детский сад за ними ходить,
кто-то может ведь их растлить,
своей похоти угодить.

Снег, со службы идя, топтать,
на жену толстеющую роптать,
в лотерею счастье пытать,
что-то там по ночам кропать.

Строить чаду кооператив,
видеть музу себя супротив
раз в неделю, тайно, мотив
владиславо-георгиевский размудив.

После пьянки очередной
вдруг креститься в церкви дряной,
где поодаль крещен грудной,
то есть Богу еще родной.

В холодильник наведываться в ночи,
тыкать вилкой в харчи,
сдать анализ плохой мочи,
умереть и сгореть в печи.

БАБУШКА ВИДИТ МУЖА

Дня мерцанье белое в обводах рам,
белое мерцанье из окна сквозит,
никого на дереве, лица ни там
нет, ни там, прищеплена, весна висит,

с бельевых веревок перекрещенных,
номерком нашитым бегло мечена,
не душа живая — это вещь на них
рукавами сохнущими мечется,

о каком Давиде — указательным
тычешь в створ весны — тебе бормочется,
никого под деревом, но, знать, больным
видится, как хочется, как хочется,

что-то вроде пленки кинопорванной,
где идет война, эвакуация,
беженцы в стога ныряют, в створ видна
в воздухе висящая акация,

с крестиков, гудящих в небе, ненависть —
кладбище летит горизонтальное —
валится, и дымом всходит века весть,
убегает в даль загзагом, в даль, снуя,

как овец, гонимых в преисподнюю,
смерть пасет и гнет их в три погибели,
Боже, человек живой бесплоднее
мертвой птицы, усыпленной рыбы ли,

ты читай на дереве псалмы свои,
в них ночей тоску твою и дней тая,
пусть они баючат, ветви вислые,
путаницу смертную, по ней-то я

и служу на кухне поминальщиком,
мальчик и меняльщик глянца марок я
там, стекает по моим печаль щекам,
и в окне трепещет что-то яркое.

ДОЧЬ

Свернуться, говоришь, калачиком,
стать мелкой дрожьюшкою, плачиком,
захлопнуть дверь и в прах рассыпаться,
лежать, не рыпаться,

с вещами сумерничать в комнате,
ни беды больше не огромны те,
ни счастья добыванья дутые,
ни люди лютые,

в какой-то несоизмеримости
с тобою, настоящей, — мнимости
их добродетелей и доводов...
Прогнать, как оводов.

Укрыться в сон, куда не сунется
ни смыслик здравый, ни безумьеце
их пьяненькое, или выгодца,
лежать, не двигаться,

а утром медленно, по капельке,
то к маменьке своей, то к папеньке
жить начинать из сострадания,
сглотнув рыдания.

Свободней говори, пожалуйста,
вот так, вслепую, наизусть,
хребтом уходит рыбьим шпалистый
трамвайный пусть,

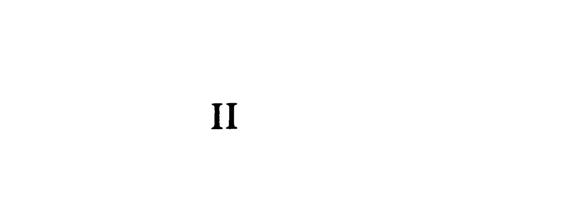
трамвайным пустится, не сетуя,
пусть бесподобная душа,
по снегу тающему спетая
в сердцах, левша,

пылает вдаль Красноармейская,
желтеет, слухом отлови,
как речь густая, арамейская
живет в крови,

желтеет на углу, пульсирует,
увязан в сноп собор, как есть,
и между ним и мной курсирует
сквозная весть,

сквозная ветвь, сюда и метили,
когда дыханием зажглись...
теперь ты не боишься смерти ли...
свободней, жизнь.

Стихотворения 1990-1994 гг.


II

ЭПИГРАФ

Ума изящество и легкокрылый слог,
чутьистость быструю, как передрог
конского крупа, или борзой
в собственный череп прыжок, —

я отдаю за едва
связный рассказ, где лестничный марш косой
и подгорает жратва...

Страшно подумать, к чему прирос,
что угнетает, как сумасшедшая мать,
сколько там кровной беды стряслось... —

В дверях я замер: плыли два котла,
как два кита, из глубины котельной,
лиловая обугленная мгла
ко мне прижалась с нежностью бесцельной.

Я уничтожен был, я был дотла
сожжен порабощенностью недельной,
и если жизнь во мне еще жила,
то жизнью от меня уже отдельной.

И тут я взгляд поймал — он из угла
шел пыльного и — дрожью став нательной —
меня отбросил к хищному истоку...

Прекрасно. Жизнь воистину была
в запасах отвращенья беспредельной,
хотя и возвращалась как-то сбоку.

После долгих пауз,
все более долгих,
странным кажется пафос
рифм, после стольких

пауз кажется жизнь в осколках
стихов отраженной лживо,
в этих признаниях и обмолвках,
друг, не ищи поживы,

разве опишешь,
как на кухне стоишь и дышишь,
и подносишь ко рту супа
ложку, и дуешь тупо,

разве жизни прибой и мусор,
выносимый шипящей
волной, отношенье к музам
имеет, разве спящий

хочет бодрствовать, может
не надеяться: время
все это уничтожит
вместе со всеми,

не призывать, как отдых,
все уравнявший хаос,
комнат глотая воздух,
воздух глотая пауз...

Мало ли, что хрустят
тонкие кости души,
мало ли, чем объят,
слова не напиши,

вон человек с ведром
возле помойки, вон
рыжим с небес ядром
тусклый цинк оживлен,

медно-кухóнный быт,
бледно-поденный труд,
нет у меня обид,
нет и души вот тут,

вон человека шаг
лужи цветной в обход...
Господи, так все. Так.
Господи, вот я. Вот.

В расплыве фонарей, в размыве пятен,
в развиве струй, в разливе черноты,
в разрыве туч — зеленые хребты,
и скаты крыш, и внутренности впадин,
во сне — о, этот образ вероятен! —
так видит эмигрант твои черты.

В автобусе из поздних он гостей,
он полупьян, он сделал полускидку
на раздвоенье тех полутеней,
которые рядят полупопытку
подкожных постиженья областей —
в известное лишь трезвости избытку.

О, да, он пьян, к тому же он во сне...
Что горбится? Какой там мост? Елагин?
Какой там город? Токио? Вене...
Нет, по скопленью рыб ты — Амстергаген —
так сыро, так печально, так вдвойне
и леопард реки, и черный бакен...

Как будто уж не он, а я шуршу,
с автобуса сходя, своей парчою,
и под плащом всевидяще дышу,
и на луну с пожарной каланчою
с восторгом отвратительным гляжу...
Но время превосходное, ночное...

РЫБА

В этой водорослями воде
перевитой мне воздуха
нет, родная, нигде,
ни полуденного, ни звездного,

здесь, в аквариуме, в уме
повредившись, умру,
подойди на прощанье ко мне —
я, как сердце в испуге, замру.

МАРИАННА

Марианна, перепрыгнув уровень,
в электричку резкую идет,
в мире на одну вот-вот не умерло,
но сегодня в озере умрет.

Точка там мерещится над озером
удаляющегося отца
и мерцающего, вроде морзе,
Марианне бледного лица.

Это с мира капля сумасшествия
в небольшую голову стекла,
Марианну силою божественной
через край ума перелила.

И она, перемахнувши замысел,
свет его таинственный и тьму,
больше не взывая к нашей жалости, —
тихо соответствует ему.

Что там, за этой тоской...
Можно смотреть на обои...
Двигают стол за стеной...
Жизни сердечные сбои...

Страшно подумать, что там
то же, что здесь — не иначе,
кто-нибудь все по пятам
ходит за кем-нибудь, плача,

ищут пропавший берет
в гробоподобном комоде,
был он, но нет его, нет,
нет его больше в природе.

С РАЗНЫХ ТОЧЕК

ИЗ КУХНИ

Псков ласковый дождя,
гроб из собора вдоль травы несут,
покойник в дно стучит,
здесь рисовал Маевский, день ходя,

в овраге комья скользкие земли,
гимназии когда-то гул,
вот монастырь вдали,
из кальки вырезанный, проблеснул,

висит на кухне
зеленый на холстине Псков,
дождь кончился, светло и сухо,
покойник спит в земле без снов.

С ЛЕСТНИЦЫ

Друг другу впившись в волоса,
колеблясь барельефом в нише,
казахская семья свисает,
Помпеей падает все ниже,

под магмой августовской ночи
вином опоенные люди,
лиц обморочный цвет песочный,
невольно думаешь о чуде,

когда благовещает голубь,
слетая с крыши зернотока,
в него бросает острый камень голод
и ест его, вращая око.

ИЗ ОТПУСКА

Изумленная зелень Литвы,
как бы выпало «с» из листвы,
ближе к осени «с»
осыпаться вернется в свой лес,

солнцем воздух набит,
как соломой сарай,
или нежно-лимонный бисквит
желтизной через край,

и дрожат небеса,
как живого поддых,
и старик, прикрывая глаза,
всем нутром чует их.

ИЗНУТРИ

Быть самим собой,
то есть молчать,
в грузовиках на убой
скот везут перед смертью кричать,

тот к сорока
начал вслух бормотать,
жест пустоте адресует рука —

из подворотен
в ночь выходить на снег —
вся твоя родина,
пусть, но вдали, пройдет человек.

С РАБОТЫ

У Пушкина в полости,
я прочла, рана живота

и сегодня бы полностью
умертвила его навсегда,

я прочла в статье,
что у Пушкина-поэта
рана в животе
и сегодня сжила бы его со света,

слышишь, Анна,
я не работаю завтра,
так скажу сегодня, что рана
умертвила и нынче бы Пушкина Александра.

С УЛИЦЫ

Плачут, плачут,
просят зайти,
днями в окне маячат,
чайный дымок зудит,

прихоти личной плоти
видят со стороны,
как вероломные локти
в очередях страны,

то ли все позабыли
и никак не найдут,
то ли полоску пыли
завтра еще сотрут.

Там, у зимы возьми
звездного неба штольни,
истину быть детьми,
весь этот дольний

и несравненный путь...
нынче, сквозь морок,
примешь ли что-нибудь
без оговорок,

там залегла твоя
жизнь, остальное — опись
инея бытия,
сдутого в пропасть.

Господи, оно не выдержит,
столько на него обрушено,
мамино лицо увижу
молодое, и сестра простужена,

Господи, оно затеплено
бесноватым пламенем надолго ли,
в складках глаженья белье постелено,
лоб губами тронули,

перед сном еще там санные
пробегут следы, сугробы в копоти,
все, что ныне миг единый заняло
и спасло от разрушенья, Господи.

Снял конек, еще сердце вдвойне —
в два прозрачных виска —
и упал на ковер,
и на розовой нежной ступне
исчезающий влажный узор
шерстяного носка.

Несколько обмороков любви,
веянье из двора сирени,
холодоносная жила Невы,
перелистыванье творений,

девочки с твоими чертами лица
бледное естество,
ты, становящийся на отца
похож своего,

засыпающего, как земля,
засыпаемого, как землей,
четыре угла жилья,
геометрия готовальни в окне зимой.

Дай бессмысленного слова нежного,
свежего, как ветвь с надломом,
связка жил древесных неизбежная
в воздухе дрожит бездомном.
Из двоих привязанность
сохранить последнему страшней,
ясный ужас ветви, темносказанность
сил, еще пульсирующих в ней.

Сердце надвое всегда рвалось,
с Кировского ли съезжал, с Тучкова —
Петроградская бросала в дрожь
сторона свидетеля ночного,

в смерть возьму с собой пласты
туч лиловых, туч тяжелых,
дом, в котором засыпала ты,

путь до Геслеровских бань возьму,
дребезг елочный трамвая
с осыпью бенгальскою во тьму…

вдруг рыданья земляной
голос: Господи, он сжил меня со света… —
и несчастная подробность эта,
точно пес, увяжется за мной.

Потом отвыкаешь, потом отвыкаешь, чужой
покажется женщина, корочкой крови сухой
с царапины — с нее ее имя слетает,
становится мертвым... И только тогда потрясает.

Не названных — нет. Как и тех, кто окликнут не нами.
Зачем мы тоскуем без них?
И море идет на тебя валунами,
по брови ушедшими в отмель с отрогов родных.

Когда по ночам оживают они, поднимая
зрачки своих каменных глаз,
и смотрят на скалы, тогда их объемлет немая
тоска, охватившая нас.

Нет женщины ближе — едва отойдет ее имя
другим, ненасытным и ненаигравшимся всласть,
и ты безучастен, и вся неизбытая страсть
в глазах отразится двумя валунами сырыми.

Природа не знает изъяна, который бы мог
ты словом занять и восполнить, не знает избытка,
где вдруг прорвалась бы свобода сильнеющих строк,
и весь нескончаемый день — дословесная пытка.

Лишь ночь все развяжет, и все разрешится, поток
погасшей земли присосется к листу, как улитка,
ты помнишь, как было в начале, Оно было Бог,
и я животворнее Слова не знаю напитка.

И если сейчас захочу, чтоб распахнутый стог
раздул твои ноздри, качнулась сырая калитка,
и ангел, ее отворивший, ступил на порог,

то — быть по сему. Ты увидишь: он сир, он продрог,
он долго сюда добирался, он вымок до нитки,
он был без тебя незначителен и одинок.

Пространства свежее пальто,
расстегнутая мгла
летит в окно ночным ничто,
и хлопает пола,

и вдруг покой волосяной,
и поезд, с ночью слит,
как перед истиной самой,
перед огромной синевой
как вкопанный стоит,

тогда, дремоту отслонив,
в очнувшейся тиши,
ты будешь подлинностью жив
сырых лесов, и сонных нив,
и собственной души,

воды живые животы,
дымки ноздрей земли,
подробный ландыш темноты,
в разруб зари замри,
не зная, чей вбирая взгляд,
на чей приникнув зов,

пока не тронулся назад —
полуразбег-полураспад —
грустнейший из миров

в разруб подробного замри
живых ноздрей воды
дымком и ландышем земли
зарей из темноты

летит и хлопает пола
ночным в окно ничто
пространства рвущаяся мгла
распахнуто пальто

...и сосны, как церковный хор, стоят,
и хвойный воздух сух, и мертвым спится,
как будто впрямь они сестра и брат,
и до сих пор не могут разлучиться.

Скажи мне, где любовь среди утрат?
Во что она могла пресуществиться?

Не знаю где. Но разве ты не рад
и книга пред тобою не раскрыта?
Тогда читай: вот Айн, вот Маргарита...

Я ухожу к заливу, зыбких нив
минуя золотистые колосья,
и, руки под землей соединив,
они идут за мною на обрыв,
и волн морских растет многоголосье.

Стол дощатый, на столе
перелистывает ветер Бытие.

Это чисто и легко —
брать дыханием парное молоко.

Больше не с кем говорить,
остается непредвиденное — жить.

Я не знаю ты о чем,
бормочи, мы это после наречем.

Темная дорога темная
с белым мотыльком.
Разве здесь твое искомое?
Никогда. Ни в этом и ни в том.

Темная дорога с желтыми
листьями о нем не говорит.
Едкой плотью яблоко тяжелое
только изнутри себя творит.

Только пробирая до оскомины,
смыслы приливают, как плющи,
всей дрожбою темного искомого.
Где не надо — там и отыщи.

Нет ему лица, оно отвержено,
но и вспыхнет яблоком во тьму
будущего слова свет, процеженный
дебрями растущего к нему.

В ЦВЕТНЫХ ПЛОСКОСТЯХ

Только тайна тайн,
перебирая воздуха ткань,
темное серебро расстояний,
Петропавловского графина грань,

люблю мглу,
гулкую под горбами глубь,
к булочному теплу
желтому еще льну,

возвращений прищур,
в блеске причуд
замысла не ищу,
раз подарен приют.

О помещенность
в тихий раствор
дымков дыханий еще есть,
осени парусиновый сор,

из молитв
все еще состоим счастливых,
жизнь не моя меня изумит,
в темных дыша приливах,

поздний известки подъезд,
входишь, захлопнув звезды,
все о тебе затопляет весть,
и не бывает розно.

Пыльной музыкой ДПШ
надышавшихся детств,
темным пригородом кружа,
о принуждений свет,

в горле комом так и застрял,
чтоб с ума не сойти,
ты своими стихами стал,
ими и перепрятан, поди,

в них тебя не найдут, найдут
лужи блеск нефтяной,
фортепьянный напрасный труд
врет без промаха за стеной.

Мы здесь бродили,
берег родимый, берег родимый,
как далеко нас везли
забыть на краю земли,

здесь и учили
нотам, плаванью, языку,
в страхе потом сличили
нас до и после — нашли тоску,

нет, не имею
больше к тебе отношенья, дитя,
медлить нельзя и уйти не смею,
берегом тихим бродя.

С этой горечью не знаю сам,
но поверх нее, поверх,
как выныривает к небесам
быстрый птичий век,

ничего и не грозит уже —
в этой точке я иду,
в этой я лежу лицом к душе
и лопатками ко льду,

чистая беспримесная даль,
ставшая жильем,
но любви так жаль,
пусть не быть, но и тогда вдвоем.

В этой ясной кривизне
и цветных плоскостях
человек идет на дне,
вдруг его охватывает,

быстро, быстро он дрожит
и взлетает горсткой
снега рассыпаясь шрифт
свежей верстки,

я ведь был в гостях,
все забыл в гостях,
вдруг объял меня великий
и исчез впотьмах.

Стихотворения 1975-1985 гг.

СОДЕРЖАНИЕ

I

Владимир Гандельсман. Вечерней почтой: Стихотворения.

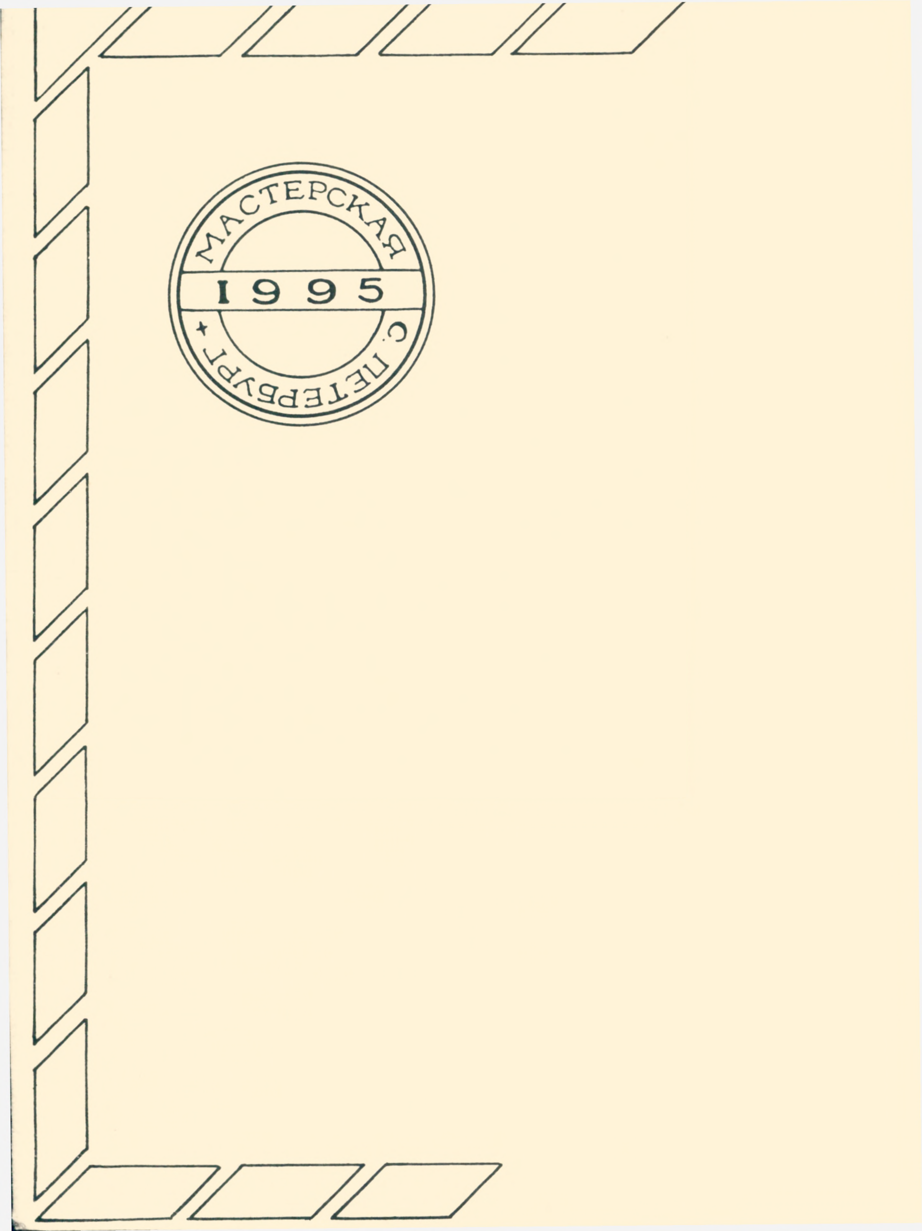
Оформление Г.Кузнецовой.
Редактор серии: Владимир Аллой

ЛР №090022 от 10.X.1991

Изд-во «Феникс»: 103009, Москва, Тверская ул., 6, стр.7.

Подписано в печать 20.03.1995. Формат 70 x 108 1/32.
Бумага офсетная №1. Печать офсетная. Усл. печ. л. 3,5.
Тираж 1500 экз. Заказ №598

Санкт-Петербургская типография №1 РАН
199034, Санкт-Петербург, 9-я лин., 12.


МАСТЕРСКАЯ
1995
С.ПЕТЕРБУРГ